

ЖИЗНЬ КАК ПОВОД

Вместо предисловия

Когда писатель сочиняет прозу, он невольно рассказывает свою жизнь. Когда писатель рассказывает свою жизнь, он невольно сочиняет прозу.

А жизнь литератора, понятно, не ограничивается сидением за рабочим столом, точно так же, как дни и ночи врача не исчерпываются выписыванием рецептов и осмотром больных организмов — в зависимости от специализации.

В своей «базовой» жизни будущий мастер или подмастерье слова сначала, как и все, благополучно или не очень растет в семье, ходит в детский сад, потом в школу. Учится, хорошо или плохо, что на писательской судьбе обычно не сказывается. Далее потенциальный литератор выбирает профессию (часто далекую от творчества), влюбляется (иногда многократно), женится (тоже порой не один раз), растит детей и даже внуков. Попутно он читает книги, смотрит фильмы, спектакли, посещает выставки, путешествует, бывает, и за казенный счет. Являясь гражданином и патриотом, писатель живет заботами своей страны, посещает выборы и митинги. А будучи космополитом, он может эмигрировать или не любить Отечество, не покидая родины. Труженик пера участвует в литературной и политической борьбе, заканчивающейся иногда плачевно, страдает от цензуры, бьется с критикой, с идейно-эстетическими вра-

гами, радеет друзьям и соратникам, отвоевывает себе место на Парнасе, тесном, точно в час пик вагон метро, куда иной раз и не впихнешься...

Все эти события так или иначе находят отражение в его книгах, иногда напрямую, как у Лимонова, который даже не меняет имен и фамилий прототипов. Однажды меня попросили передать ему в Париже впервые выпущенный в СССР роман «Это я, Эдичка». Издатель честно предупредил:

— Эдуард обязательно поведет тебя обмывать книжку, будь осторожен!

— Почему?

— Сболтнешь лишнего, он выведет тебя в новом романе под твоей же фамилией полным идиотом.

— Зачем?

— Творческий метод у него такой. По-другому не умеет.

Кстати, этот эпизод я щедро подарил Геннадию Скорятину, герою моего романа «Любовь в эпоху перемен». Не читали? Напрасно. А вы знаете, что я никогда не придумываю фамилии героев, а беру их у реальных людей, живых или умерших. Фамилию Скорятин я позаимствовал у одной давней сослуживицы, а потом у Даля прочел: старинный глагол «скоряться» означает среднее между «покориться» и «смириться». Но ведь именно такова судьба моего героя! Что это — мистика или особо устроенный слух литератора? Многие имена для персонажей позаимствованы мной с надгробных плит. Да-да! Например, Труд Валентинович из романа «Замыслил я побег...» или Суперштейн из комедии «Чемоданчик». Фамилия реального человека, пусть и ушедшего, сообщает вымышленному образу необъяснимый витальный импульс, приближает художника к тому, что я называю «выдуманной правдой». И наоборот: искусственная фамилия делает героя подобным муляжу. Вот вам лишь один из секретов моей надомной творческой лаборатории. Есть и другие...

Иногда жизненный опыт автора присутствует на страницах произведения в прихотливо измененном, даже фантастическом виде, как у Булгакова или Владимира Орлова, автора незабвенного «Альтиста Данилова». В таких случаях по книгам реконструировать подлинную судьбу создателя текста довольно трудно. Не уверен, что экскременты в быту Владимира Сорокина и галлюциногенные грибы в интернет-бдениях Виктора Пелевина играют такую же важную роль, как в их сочинениях. Впрочем, авторы вольны в полетах своих фантазий и грез, если, конечно, их не заносит в сферу психопатологии. Тогда лучше — к врачу. «В ваших стихах мне не хватает сумасшедшинки!» — любил повторять Вадим Сикорский, чей семинар я посещал, будучи начинающим поэтом. Но когда к нам на обсуждение забрел реально ненормальный пиит, Вадим Витальевич пришел в ужас и не знал, как от него отделаться.

Одни писатели рассказывают о годах, проведенных на грешной земле, до такой степени прямо и откровенно, что порой совестно читать. Давний мой литературный знакомец подарил мне как-то свою исповедальную повесть и, позволив через неделю, спросил:

— Почитал?

— Прочитал.

— Ну, понял теперь, каков я подлец?

— Теперь понял, — подтвердил я, хотя о низких моральных качествах этого сочинителя весь литературный мир был давно осведомлен.

Другие, наоборот, шифруются или выбирают из своего опыта лишь благородные и драгоценные эпизоды. Читая такие книги, чувствуешь себя, будто переночевал в кондитерской. Подобная самоочистка была характерна для советской эпохи. Ну в самом деле, мог ли лауреат Ленинской премии, видный литературовед И. А. (не путать с осликом,

другом Винни-Пуха) признаться в своих мемуарах, что писал доносы на коллег? А ведь будучи опытным поисковиком, открывшим в архивах множество тайн, он явно догадывался, что когда-нибудь исследователи докопаются до этих мрачных эпизодов, ведь доносы, как и рукописи, не горят. Интересно, как ему спалось? Не заходили к нему в сны несчастные «в широких шляпах, в длинных сюртуках»?

Зато теперь у нас «в тренде и бренде» саморазоблачения, выпячивание внутренних мерзостей и концентрация негатива, столь ценимая экспертами премиальных ареопагов, особенно если все это касается страны проживания — России. На иных почетных дипломах я бы так и писал: «Каков подлец!» Причем это относилось бы и к лауреату, и к председателю жюри.

А вот другой случай. Один известный писатель был женат на очень строгой и бдительной даме, поэтому в своих толстых романах он обходился вообще без эротических сцен, к которым и жена, и советская власть относились резко отрицательно. Когда же автор умер, в его рукописях нашли десятки глав, не включенных в опубликованные версии. Все они живописали постельные эпизоды с такой профессиональной разнузданностью, что вдова, она же председатель комиссии по наследию покойного, упала в обморок. Специалисты же ахнули и заявили: если бы он в свое время не побоялся вынести эти главы на суд читателей, хотя бы в рукописи, пущенной по рукам, то прославился бы среди современников. Но теперь, как говорится, поездушел, рельсы убрали, а эротикой современного читателя поразить так же трудно, как танк резиновой пулей.

Меня нередко спрашивают как соотносятся в текстах вымысел и реальный жизненный опыт? Рискну предложить такую вот аллегория. Жизненный опыт — это как бы хаотичная россыпь, даже насыпь, самых разных камней

и минералов. Тут драгоценные алмазы, изумруды, рубины... Полудрагоценные: аметист, опал, жад, топаз, аквамарин... Есть и камни попроще: сердолик, кремьнь, авантюрин, гагат, разноцветные галечные окатыши... Ну и, конечно, в изобилии разные окаменевшие фракции предосудительного происхождения. Куда ж без них? Так вот, произведение — это мозаичная картина, и ты складываешь ее, выбирая необходимые или уместные камешки из россыпей пережитого. Разумеется, каждое сравнение хромает, но все-таки...

Однако иногда у писателя возникает желание забросить очередную мозаику и просто, без затей заняться камешками из кучи, брать их в руки, рассматривать, вспоминать, какой откуда, показывать читателям, объяснять их происхождение — драгоценных, полудрагоценных, обычных и даже мусорных. Зачем? А зачем мы рассказываем случайному попутчику то, что скрываем даже от психотерапевта? У каждого человека в судьбе есть события, вроде бы рядовые, но сыгравшие особенную роль. Я, например, понял, что отрочество закончилось не тогда, когда, скажем, впервые проник в тайну женской благосклонности. Нет, случилось иначе.

Мы с друзьями-первокурсниками шумно шли из пивного бара и в Переведеновском переулке, недалеко от моей 348-й школы, повстречали юную женщину с коляской. То была моя одноклассница, с которой мы однажды поцеловались в подъезде, почти невинно. Она меня узнала, покраснела и, холодно кивнув с высот своего раннего материнства, величаво проследовала мимо. Именно в тот момент в моей душе совершилось некое скачкообразное взросление. Почему? Если бы каждый мог ответить на такой вопрос, не нужны были бы ни Достоевский, ни Толстой, ни Флобер, ни Чехов... Со стороны вроде бы заурядная сценка, по нашей классификации — так себе, шпат полевой. А в моей жизни это воспоминание — по меньшей мере топаз, возможно, дымчатый.

Обычно книги, подобные моей, называются литературными мемуарами или мемуарной прозой. Среди них есть выдающиеся сочинения. Например, воспоминания Греча, Фета, Станиславского, Короленко, Пастернака, Белого, Ходасевича, Анастасии Цветаевой, Катаева, Нагибина, Бородина... Это не просто развернутые автобиографии, не рассказы про житье-бытье. Авторы приобщают нас к своей жизненной и творческой философии, спорят с оппонентами, критиками-зоилами, довоевывают с давними литературными недругами, пытаются сами оценить свое творчество в контексте эпохи и вечности. Любому писателю, даже великому, кажется, что современники его не поняли до конца, недооценили. Но лучше, на мой взгляд, быть недооцененным, чем переоцененным. Последнее заканчивается посмертным и даже прижизненным дефолтом.

Однажды на банкете по случаю вручения какой-то литературной премии я обратил внимание на знакомого поэта весьма средней руки, который, опрокидывая рюмки с ритмичностью робота-манипулятора, качал головой и бормотал себе что-то под нос. Заинтересовавшись, я подошел и прислушался. Не сразу, но мне удалось разобрать то, что он бубнил:

— Идиоты! Вот стоит и пьет водку гениальный поэт, а никто даже не догадывается! Козлы!

Гениальный поэт, как вы понимаете, он сам. Что ж, «блажен, кто верует, тепло ему на свете». Но полагаю, Грибоедов ценил в себе дипломата куда выше, чем поэта. Бывает. А почему он так и не написал ничего равноценного «Горю от ума»? Служба заела? Почему же она не заела Тютчева, тоже дипломата? Почему гениальный Артюр Рембо в 20 лет плюнул на стихи и занялся работоторговлей? Почему ранний Николай Тихонов содрогает сердце, а поздний оставляет равнодушным, вызывая лишь филологический интерес.

А вот с Николаем Заболоцким все с точностью до наоборот. Как в человеке вспыхивает талант и почему потом гаснет? Искра божия — это метафора или реальность? Что происходит по ту сторону вдохновения? По какую именно? По обе стороны.

В моем поэтическом поколении, стартовавшем в начале 1970-х, сразу выделились несколько молодых поэтов, которым прочили громкое будущее. Но никто из них не стал явным чемпионом эпохи. Одним не хватило таланта, другим жизни, оказавшейся слишком короткой, третьи, традиционалисты, оказались в начале 1990-х искусственно выброшены на обочину процесса, четвертые ушли в эксперимент и затерялись в стеклянном лабиринте пробирок и реторт. Но большинство моих сверстников сошли с дистанции на первом же круге. Их талант рассосался, как ложная беременность. Почему? Не знаю. И что есть талант? Вирус рецидивирующего вдохновения или упорный труд, доводящий до озарения? Почему хорошие поэты пьют, как сукины дети, и уходят раньше срока, а плохие, как правило, умеренны во всем, в творчестве, к сожалению, тоже. Их сочинения напоминают мне гигиенический секс по расписанию, где все оргазмы рассчитаны наперед.

Книга, которую вы держите в руках и, надеюсь, прочтете, как раз об этом. Нет, не о сексе, хотя роль интимного опыта в зарождении и осуществлении художественного замысла я тоже рассматриваю, рискуя вызвать внутрисемейное расследование. Но больше меня волнует другой вопрос, я пытаюсь понять жизнь как повод к вдохновению и сочинительству. Моя книга тоже принадлежит к жанру автобиографической прозы. Но есть одна особенность: почти каждое эссе посвящено истории и судьбе моих сочинений, как-то «Сто дней до приказа», «Апофегей», «Парижская любовь Кости Гуманкова», «Демгородок», «Козленок в молоке»,

«Гипсовый трубач». Есть и рассказы о нереализованных замыслах, например о сценарии «Неуправляемая», который я писал в соавторстве с Евгением Габриловичем. «Неуправляемую» (ее должна была играть Ирина Муравьева) запретили в разгар перестройки и гласности по личному указанию члена Политбюро Яковлева.

Будучи по гражданской специальности учителем-словесником и литературоведом, я пытаюсь взглянуть на собственные сочинения как бы со стороны, глазами исследователя, в частности, проследить историю создания от замысла, смутного импульса, невнятного прообраза, сюжетного эмбриона до полноценного воплощения в тексте. Но и о «постпечатной» судьбе моих сочинений, включая экранизации и инсценировки, я тоже рассказываю. Думаю, читателя заинтересует роковой поединок автора с режиссером, в котором гибнет искусство. Поскольку мои ранние повести «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба» побывали под запретом цензуры, я делюсь опытом преодоления прежних запретов и свежими навыками борьбы с «либеральной жандармерией». Особое место в книге занимает полемика с критиками. Это племя стойко меня не любит. За что? Об этом я тоже пишу.

Судьба каждого человека вплетена, как нить, в сложную узорную ткань времени, впутана в бытовые, социальные и политические коллизии, драматические, трагические или комические. По складу характера и литературной ориентации мне интереснее вспоминать забавные случаи. Я даже придумал для подобных историй особый жанр «мемуарески». И таких «мемуаресок» в книге немало. Вот одна из них.

Однажды, участвуя в круглом столе «Патриотизм без экстремизма», который проводил в Краснодаре президент Путин, я откровенно заявил, что в культуре и информационной сфере России труднее всего приходится почему-то

именно патриотам и государственнымникам. Более того, искренне любить родину сегодня даже невыгодно: молодой писатель или журналист, объявивший себя патриотом, практически сразу ставит крест на карьере — не видать ему ни премий, ни командировок, ни грантов. Уж либеральные держиморды постараются. Услышав мое утверждение, что деятеля культуры, объявившего себя патриотом, тут же затрут, как «Красина» во льдах, Путин посмотрел на меня долгим грустным и понимающим взглядом:

— Неужели так плохо?

— Хуже, чем вы думаете. Вот «Литературка» — патриотическое издание, а мы можем рассчитывать только на себя. И это в рыночных-то условиях! Зато любое либеральное издание, хамящее Кремлю по всякому поводу, сосет и западных грантодателей, и отечественное вымя.

— Напишите мне письмо! — посоветовал президент.

— Уже написал.

— Отдадите, когда закончим разговор. Ну, коллеги, продолжим. Смелее! Высказывайтесь! Не тридцать седьмой год на дворе...

Актер Василий Лановой, сидевший рядом, поощрительно ткнул меня в бок. Дожидаясь окончания прений, я ловил на себе сочувственные взгляды участников дискуссии и неприязнь разного рода чиновников, но особенно злопамятно поглядывал чиновник, похожий на конферансье Апломбова из образцовского «Необыкновенного концерта». Едва круглый стол завершился, я ринулся к лидеру страны, но был остановлен охраной: «Нельзя!»

— У меня письмо.

— Давайте, я передам, — ласково предложил «Апломбов» и выдернул из моих пальцев конверт.

Вдруг на пороге Путин оглянулся, нашел глазами меня и спросил:

— Письмо-то где?

— У меня его забрали.

— Кто-о?

— Вот... он... — Я кивнул глазами на чиновника.

— Э-э, нет, этот обязательно потеряет. Давайте мне...

Взяв письмо и приложенный к нему свежий номер «ЛГ», президент покинул режимное помещение. А мы двинулись к автобусам. Я прошел мимо группы чиновников, обсуждавших круглый стол. Донеслись слова недовольства, касавшиеся меня, неуправляемого. Они полагали, обсуждение проблем патриотического воспитания должно проходить в тихом благолепии, как именины парализованной бабушки. На подъезде к аэропорту автобус был неожиданно остановлен. Вошли два стриженных крепыша:

— Кто Поляков?

— Я! — откликнулся я.

— И я! — встал политолог Леонид Поляков.

— Юрий Михайлович?

— Я...

— Пойдемте!

— Ну вот, а сказали, не тридцать седьмой! — вдогонку вздохнул Лановой. — Держись, Юра!

На улице мне дали в руки большой телефон с антенной и предупредили:

— Говорите громче. В вертолете плохо слышно.

И действительно, из трубки сквозь стрекот донесся голос Путина:

— Юрий Михайлович, я прочитал и письмо, и газету. Вы все правильно пишете. Жаль, что тем, кто меня поддерживает, живется так непросто. Постараюсь помочь. Я уже дал поручение... — он назвал имя «Апломбова»...

— Спасибо, Владимир Владимирович... — чуть не заплакал я.

— Держитесь!

— Держусь!

Когда я вернулся в автобус, меня спросили, конечно, зачем и куда вводили.

— С Путиным говорил. Он звонил из вертолета...

— Тебе?!

— Мне...

Стало слышно, как тикают дорогие часы на руке у шефа «Роспечати». Пока летели из Краснодара в Москву, я перечокался и переобнимался с руководителями всех уровней. Такого количества добрых слов от чиновников и деятелей культуры я не слышал никогда. Остается добавить, что хитрым аппаратным маневром «Апломбов» свел обещанную первым лицом помощь газете к таким смехотворным результатам, что и вспоминать-то неловко. Да уж, непросто живут в России те, кто поддерживает Путина...

Вот такая «мемуареска»...

Но, возможно, кому-то больше придется по душе мои размышления о природе, смысле и назначении творчества. Кого-то заинтересует моя версия поздней советской и новейшей истории Отечества. А кто-то воздаст должное ехидным зарисовкам литературных нравов, продолжающим и развивающим темы «Козленка в молоке».

У каждого автора найдутся тексты, которые он мог бы и не писать. У меня, к сожалению, такие тоже имеются. Есть произведения, которые писатель не мог не сочинить. Книга «По ту сторону вдохновения» именно из этого ряда. А то, что автор не мог не написать, нельзя не прочитать. Уж поверьте на слово! Иногда нам, литераторам, можно верить.

*Переделкино,
февраль 2017 года*

Колебатель основ

1. Проснуться знаменитым

В один из январских дней 1985 года (теперь уже не помню, в какой именно) я проснулся, извините за прямоту, знаменитым на всю страну. Уснул среднеизвестным поэтом, а проснулся знаменитым прозаиком. Случилось это в тот день, когда январский номер «Юности» очутился в почтовых ящиках трех миллионов подписчиков. Я тоже достал из железной ячейки долгожданный журнал, предусмотрительно вложенный почтальоном в газету (дефицитную периодику в подъездах тогда уже подворывали), раскрыл и огорчился: с фотоснимка на меня нагло смотрел длинноносый парень, неумело канающий под задумчивого. По советскому же канону фотопортрет должен был улучшать автора, приближая его к идеалу, когда в человеке все прекрасно — далее по Чехову. За образец брали портреты членов Политбюро, висевшие в присутственных местах. Позже пришла мода на «охаривание» лиц известных людей. Мол, такой же человек, как мы с вами! Вон какая бородавка на носу! О том, что это тенденция, имеющая дальние цели, до меня дошло, когда в телевизоре появились уродливые дикторы, которыми можно на ночь пугать детей. Но я забежал вперед.

А тогда, прижимая к груди журнал, я подхватился и поехал в редакцию «Юности», располагавшуюся на «Маяковке» в многоэтажном доме начала XX века над рестора-

ном «София». На второй этаж вела лестница, достаточно широкая для того, чтобы две даже очень крупные фигуры советской литературы, пребывающие в идейно-эстетической вражде, могли свободно разминуться. Тогда писатели противоположного образа мысли печатались в одном и том же журнале. И это было нормально. Теперь же если почвенник и забредет в «Новый мир», то лишь в состоянии полного самонепонимания, — как мужик, который с пьяных глаз ломится в дамскую комнату. Но я снова забежал вперед.

Главный редактор журнала Андрей Дементьев встретил меня своей знаменитой голливудской улыбкой:

— Поздравляю! Чего грустный?

— Вот фотография плохо вышла...

— Какая фотография, Юра! Ты даже не понимаешь, что теперь начнется!

Он не ошибся. В те годы публикация острого романа, выход на экраны полежавшего на полке фильма или открытое письмо какого-нибудь искателя правды, обиженного режимом еще в утробе матери, — все это вызывало умственное брожение и общественное смущение, которые чрезвычайно беспокоили серьезных людей, облеченных властью. Они спорили, совещались, приглашали вольнодумцев в свои кабинеты, гоняли с ними чай, обещали льготы в обмен на сдержанность, а если те упорствовали, наказывали страшно: высылали из СССР прямо в гостеприимные объятия западных спецслужб, приготовивших изгнанцам неплохое трудоустройство, скажем, обозревателем радиостанции «Свобода». Удивительные времена! Судьбу какого-нибудь нудного романа решали на заседании Политбюро, коллегиально, взвешивая все за и против. А вот Крым могли отдать Украине просто так, с кондачка, со всей волюнтаристской дури! Странные времена...

Тем, кому сегодня за сорок, не нужно объяснять, что такое «ЧП районного масштаба». Зато продвинутые представители «поколения пепси», читая повесть, могут удивиться: неужели вполне заурядная история личных и служебных неприятностей первого секретаря никогда не существовавшего Краснопролетарского райкома комсомола Николая Шумилина, изложенная начинающим в общем-то прозаиком, могла потрясти воображение современников? Ведь тогда по всей стране, от Бреста до Сахалина, стихийно прошли тысячи читательских конференций, бесчисленные комсомольские собрания, на которых до хрипоты спорили читатели моей повести. Все печатные органы, включая «Правду», откликнулись на «ЧП...» резко критическими, мягко разгромными или сурово поощрительными рецензиями. Началось с Виктора Липатова (не путать с талантливым Вилем Липатовым, автором «Деревенского детектива»), напечатавшего в «Комсомольской правде» статью «Человек со стороны». Статья была явно заказана комсомольским начальством, не ожидавшим такого ажиотажа вокруг повести о райкоме.

Думаю, слаженная критика «ЧП...» была связана и с внешней реакцией чуждых сил. Василий Аксенов, кажется, по «Голосу Америки» рассуждал о повести, видя в ней первую ласточку весны, которая непременно растопит торосы империи зла. А ведь на дворе стоял холодный январь 85-го, в Кремле боролся с предсмертной одышкой генсек Черненко, и о радикальном сломе системы свободно рассуждать можно было только на Канатчиковой даче. Но литература обладает удивительной способностью ранней диагностики будущих социальных потрясений. Конечно, наутро десятки моих друзей, ночами внимавших «вражьи голоса», поздравляли меня с признанием на Западе. Впрочем, они очень удивились, что на «ЧП...» никак не отреагировал главный изгнанник — Солженицын. Думаю, ему было не до меня: